

М.Н. Волконский

Записки прадеда

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
В67

Волконский М.Н.
В67 Записки прадеда / М.Н. Волконский – М.: Книга по Требованию, 2021. –
124 с.

ISBN 5-253-00626-5

Предлагаемое читателю произведение М. Н. Волконского "Записки прадеда", знакомит нас с жизнью, традициями, бытом, богатейшими и интереснейшими страницами истории России, с реальными и вымышленными героями.

ISBN 5-253-00626-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М.Н. Волконский, 2021

Предисловие

Изучать XVIII столетие, в особенности конец его, и оставлять без внимания ту несомненную склонность к мистическому и таинственному, которая служит одной из характерных черт этого времени, так же невозможно, как писать картину без фона. Волей-неволей приходится считаться с этим явлением, когда есть несомненные данные, что даже такие люди, как светлейший князь Тавриды — Потемкин, были вовсе не чужды влияниям мистического течения.

Зная, что меня интересует эта сторона жизни прошлого века, один из приятелей моих доставил мне найденные им у себя в деревне записки своего прадеда.

Рукопись оказалась не лишеной интереса и очень характерной и послужила содержанием предлагаемой повести, расположение которой по главам вполне соответствует первоначальному источнику. Изменено лишь изложение, сделанное более удобным для чтения, придана литературная обработка и взяты вместо подлинных вымышленные имена и фамилии некоторых действующих лиц.

На рукописи сделаны довольно искусно пером два рисунка, иллюминированные красками. Один, на заглавном листе, изображает человека в белой длинной одежде с обручем на голове. Левою рукой он показывает на землю, а правую, в которой держит жезл, — поднял. Пред ним куб с лежащими на нем чашей, мечом и диском. На другом рисунке, помещенном в конце, — слепой с полным мешком за плечами плетется ощупью, не видя, что пред ним на поверженном обелиске разинул на него пасть огромный крокодил.

«История сия, — говорит автор записки в своем предисловии, — вполне правдива, ибо имеет предметом своим не праздный вымысел, но правду истинную. Уразумением ее да просветит свой разум мудрый, а глупец, видящий в чтении лишь препровождение времени, пусть скажет: «Сие не токмо произойти не могло, но даже и невероятно!» Смущаться ли мнением неразумных, коих удел есть верхоглядство и мракобесие!

Но прочесть с пользой желающий в смысл изложения таковой пусть вникает и по трезвом размышлении истину от лжи отличит, ибо истина мудрому сама по себе понятна станет.

Для сего единственным пособием собственный разум и чистота сердца послужат. Неразумному, сколько ни толкуй, все темно, непонятно и сомнительно будет, а мудрый в том самом свет обрящет, от чего у глупого глаза слепнут, ибо свет для глупого тьмы горше!»

I

Молодой Орленев

1

У веселого, симпатичного всем Кирюши Доронина, жившего в родительском доме на отдельной квартире на холостом положении, собрались приятели.

Низкая, прокуренная комната полна была народа. В табачном дыму краснело пламя догоревших почти до подсвечников свечей, и обитые расписанным красками полотном стены сливались, теряясь в одном общем, неопределенном тумане.

У покрытого зеленым сукном стола столпились игравшие. Там то притихали, когда наступала минута ожидания, кому сдаваемые карты покажут выигрыш, то слышались восклицания, отрывочные и неясные, иногда даже слишком — словно выкинули что — громкие, и снова согнутые спины игроков сжимались теснее, и наступала тишина, в которой раздавался приятный и знакомый всем присутствовавшим шелест колоды.

Был тот час пьяной игорной ночи, когда бывшие в обороте деньги распределились уже и понемногу спрятались у прибравших свой выигрыш. Игра перешла на мелок.

Несколько человек, и между ними один, на вид старше всех остальных, отделившись в сторонку, сидели на угольном закаминном диване с длинными французскими трубками и пили вино, не беспокоясь тем, когда проливали и плескали чокаясь.

Посредине на круглом, покрытом залитой вином скатертью столе стояли объедки холодного ужина и бутылки, раскупоренные, выпитые и наполовину еще полные. Те, которым не везло у игрального стола, отходили, брались за стаканы, подходили якобы послушать, о чем говорят на диване, но снова быстро поворачивались и, точно железо к магниту, тянулись снова играть.

Сам Доронин (он проиграл сегодня много, но не успел еще сосчитать и сознать свой проигрыш) заботился об одном только — чтобы всем было весело и приятно, и то делал, якобы для оживления игры, большую ставку у игрального стола, то подходил потчевать кого-нибудь ужином, то прислушивался и вставлял свое слово в разговор на диване. Он был доволен гостями, и, казалось, гости были очень довольны им.

Гости эти были давно знакомы и с хозяином и друг с другом и часто сходились в гостеприимной квартире Доронина. Большинство из них было на «ты».

Чужим среди них казался только один молодой человек в белом парике и голубом атласном кафтане с галунами английского покроя. В карты он не играл, но внимательно и долго следил за игрой. Он несколько раз отходил от стола и снова возвращался к нему.

Хозяин и гости мало обращали на него внимания. Почти в самом начале вечера, при своем появлении, он сделал неловкость, благодаря которой почувствовалась эта общая отчужденность к нему. Заговорили о празднике, устроенном месяца полтора тому назад князем Потемкиным в его новом Таврическом дворце; говорили, что одного воска для иллюминации было куплено на семьдесят тысяч

рублей. Для освещения дворца потребовалось добавить до двухсот люстр. Вообще роскошь была удивительная. Потемкин превзошел сам себя. Праздник был таков, что о нем, казалось, забыть было нельзя, и завистливый ропот удивления, похвал и злословий не умолкал в Петербурге.

Общество, собравшееся у Доронина, принадлежало к сторонникам вновь народившейся при дворе силы — Зубова, и потому здесь открыто порицали Потемкина, который напрасно-де тщится своим «мотовством» вернуть к себе прежнее расположение государыни.

— Да ему, кажись, нечего и возвращать — он никогда не терял этого расположения, да и у Зубова нет таких крыльев, чтобы залететь выше светлейшего.

Проговорил это вдруг молодой человек в атласном кафтане.

Всем стало неловко. Во-первых, в этом кружке не принято было называть князя Таврического «светлейшим», а уж ставить его выше Зубова — совсем было неудобно. Все замолчали и притихли.

— Кто это? — шепотом стали спрашивать гости у хозяина.

Тот, застыдившись и краснея, начал объяснять и оправдываться.

— Это — Орленев, Сергей Александрович, — заговорил он тоже шепотом, — племянник старика Орленева, у которого дом на Фонтанной был... вот что умер недавно. Он жил долго за границей, в Лондоне, и приехал недавно только, именно по случаю смерти своего дяди. Он вовсе не знает Петербурга...

— Да ты-то откуда взял его?

— Я встретился с ним у Гидля, в кондитерской, — снова оправдывался Доронин. — Он сказал мне, что у его дяди был дом на Фонтанной. Он и остановился теперь в этом доме...

Но никто хорошенько не помнил старика Орленева, у которого был дом на Фонтанной.

— И всегда этот Кирюша попадется! — решили кругом. — Очень нужно приглашать незнакомого человека.

И на Орленева стали коситься, и никто во весь вечер не подходил к нему.

Сам он не то чтобы не заметил этого, а держал себя как-то так, словно ему было решительно безразлично, как смотрят на него и что о нем думают. Он остался у Доронина и, не заботясь ни о ком, вел себя совершенно самостоятельно.

Вскоре о нем забыли и перестали обращать на него внимание.

2

Только по временам, когда вдруг с той стороны комнаты, где стояли клавишины, раздавались звуки грустно-тихой, хватавшей за душу, увлекавшей музыки, все лицо Орленева оживлялось, и он улыбаясь прислушивался.

У Кирюши всегда вечером на сборищах его приятелей было что-нибудь особенное — певец какой-нибудь, песенники, дворовый мальчишка, пляшущий трепака, или невесть где и как разысканная цыганка, забавно гадавшая желающим.

На этот раз он позвал, чтобы играть на клавишинах, музыканта, впрочем довольно известного в Петербурге и по кондитерским, и по веселым домам, и так вот, по частным вечерам холостых людей. Слыл он полоумным, и в большинстве случаев не столько слушали его игру, сколько потешались над ним. Он был не

русский, но, каково собственное его происхождение, никто не спрашивал и не интересовался этим. По его длинной фигуре, на худых, с выдававшимися костями, плечах которой болтался длинный черный кафтан с большими пуговицами назад, по его сухому, бритому, с заостренными чертами и голубыми большими глазами лицу, выглядывавшему между прядей седеющих, прямых, длинных желтых волос, а главное, поговору — он был не русский, а потому его звали немцем-музыкантом и, так как считали, что рассудок его поврежден, — полоумным.

Он никогда не играл веселых вещей. Он обыкновенно садился за клавиесины и начинал импровизировать. Импровизации его всегда лились стройным, грустным напевом, но это-то именно и нравилось его полупьяным или вовсе пьяным слушателям. Чем веселее и разгульнее была компания, тем с большим восторгом воспринимались раздававшиеся среди гама и хохота стройные, плавные звуки.

Иногда притихали и слушали в молчании игру полоумного музыканта, давали увлечься ему, и кто-нибудь из самых пьяных начинал уже плакать и бить себе в грудь, приговаривая:

— Свиньи мы, свиньи!..

Но в это время на голову увлекшегося музыканта выливали из миски остатки липкого пьяного питья, он останавливался, дико смотрел кругом и, словно разбуженный, не понимал, что с ним случилось... И снова всем становилось весело.

Или заставляли играть его и под его грустную игру готовились к обычной, но всегда веселившей всех шутке — похоронам полоумного немца. Устраивали целую процессию: впереди несли половую щетку, наряжались факельщиками, рыцарями, закутывались в простыни и носили в виде мертвеца отуманенного своей музыкой полоумного музыканта.

В нынешний вечер оставили его в покое. Игра за карточным столом вышла слишком серьезной. Не до него было. Он несколько раз садился за клавиесины, играл, играл долго, потом задумывался, низко опустив голову, снова пальцы его, как бы машинально, бегали по клавишам, и комнату охватывали тихие, мелодические звуки.

Но только один Орленев прислушивался к ним. Он весь словно преображался, когда раздавались эти звуки, и, не будь их, он давно бы ушел от Доронина. Ему очень не нравилось и было вовсе не по себе тут.

Когда немец играл, он весь отдавался его музыке и не мог уйти, когда она кончалась, надеясь снова услышать ее; музыкант играл снова, и Орленев слушал и не мог уйти.

Иногда так тихо, что Сергею Александровичу казалось, что он один слышит только, старик под свою игру подпевал немецкие стихи.

Два куплета запомнились невольно:

«Жизнь с своими испытаньями.

Бесчисленными испытаньями,

Дана нам Промыслом,

Чтобы развить нашу волю.

Человек, лишенный воли.

Человек бездеятельный

Так же к погибели близок.

Когда завязался разговор на угольном, за камином, диване, музыкант сделал перерыв, и Орленев, искоса поглядывая на него, ожидая, когда он вновь заиграет, подошел к дивану, впрочем вовсе не желая слушать то, что говорилось там, а так, просто, от нечего делать.

Говорил тот, который был постарше остальных (Орленев не знал, кто это), и говорил уверенно, как бы зная заранее, что все, что он ни скажет, будет принято с должным уважением. И действительно, его слушали не перебивая и даже с оттенком некоторого подобострастия.

— Удивительный интерес возбудила она во мне, — говорил он, растягивая слова, — презанятная история! Во-первых, возьмите в рассуждение то, что она — девушка; черненькие эдакие, знаете, глазки, талия — соломинка, а ножка!.. Для меня главное в женщине — ножка и талия... А тут и личико!.. И знаете, главное, эта невинность девичья, чистота и благородство.

— Значит, благородная? — спросил кто-то.

— Вне всякого сомнения. Уж очень в ней много этой благородной прелести. Удивительно!

— Но как же, если она благородная?

— То есть что — как? Очень просто. Я потому и рассчитываю на вас — об- лава, ночь... и все кончено. Не в первый раз. Я местожительство узнал.

Наступило молчание.

— Однако до сих пор, — весело и развязно заговорил Кирюша Доронин, — вы имели дело с таким народом, который не посмел бы идти против нас, но если теперь благородная...

Рассказывавший свистнул и махнул рукой.

— Об этом не тревожьтесь! Во-первых, я вас под обух за помощь и товари- щество подводить не стану, — в случае чего сам один ответить сумею, а во- вторых, тут бояться решительно нечего: птичка одна-одинешенька и живет как- то странно, на Петербургской, у церкви Сампсония. С ней старуха вроде испан- ской дуэньи. Романтично и таинственно. И никого у них не бывает, решительно никого, и сами они никуда не ездят.

— Так что же, ночной налет? — опять переспросил кто-то.

Кругом захихикали и засмеялись.

Орленев знал, что такие случаи в то время в Петербурге были возможны. Кутящая компания налетала на мещанский или купеческий дом, безобразничала там и потом отделявалась деньгами, подарками и, всякими правдами и неправ- дами, выходила чиста. Правда, что случалось не зауряд, однако все-таки случалось. Орленев думал, что делалось оно спяна, не помня, так сказать, себя, но чтобы можно было так вот заранее уговариваться устроить облаву на честную девушку, готовиться и обдумывать разбой — этого он никак не мог ожидать. И говорили они вполне серьезно, не в шутку, и старший их первый заводил речь и просил помочь.

— Но ведь это — подлость! — проговорил Орленев.

Все оглянулись на него, и с таким удивлением, точно теперь только заметили, что он был среди них.

Однако слово было уже сказано. Орленев сам ожесточился звуком своего голоса, и не успела еще пройти первая минута общего замешательства, как он заговорил, чувствуя, что вся кровь приливает ему к голове.

— Да, это — подлость, это — разбой, и та девушка, о которой вы говорите, не может быть одна и беззащитна. Я не знаю ее, но я говорю вам, что это — подлость, — это слово, первое пришедшее на язык, он повторял невольно, — и я не позволю вам сделать это, да, я...

— Он пьян, он пьян совсем, — заговорили кругом и несколько рук охватило его и оттащило в сторону.

— Что вы делаете! — шептал ему в ухо в это время голос Кирюши Дорони-на. — Что вы делаете? Ведь вы оскорбляете отца Зубова, самого Зубова; это — отец князя Зубова!

Сергей Александрович не сразу понял то, о чем ему говорили, то есть что пожилой человек, предлагавший скверную затею, был отец всесильного князя Зубова.

Между тем Зубов поднялся с дивана и твердо подошел почти в упор к Орленеву. Он вполне владел собой и улыбался подходя.

— Ваша фамилия? — спросил он, сдвигая брови, точно непогрешимый начальник у провинившегося подчиненного.

Этот тон удивил Орленева, и он именно удивленно оглядел Зубова с ног до головы и, чтобы тот не подумал, что он робеет назвать себя, громко и явственно произнес:

— Дворянин Орленев.

Он нарочно подчеркнул слово «дворянин» и выпрямился.

— Ну так вот что, дворянин Орленев, — заговорил Зубов, вдруг меняя свой прежний тон на шуточный, — не вам судить поступки старших. Но за ваши слова я разведусь с вами поединком завтра же, в леску за Фонтанной, у строящейся церкви. Вы будете меня ждать там... в семь часов утра... Но только не вообразите, что ваша выходка может изменить что-нибудь в моих намерениях! — и, взяв со стола стакан, он высоко поднял его и отчетливо проговорил: — За успех нашей затеи... на Петербургской... Вот как!..

Его слова были покрыты одобрительным криком. Пили его здоровье.

4

Орленев был рад и вместе с тем не рад, когда, выйдя от Доронина, очутился на улице.

То, что произошло между ним и стариком Зубовым, не только не было неприятно ему, а, напротив, веселило его и радовало, как хороший поступок, после которого обыкновенно чувствуешь себя легко и свободно. Своему поведению и своему ответу он был рад, но гнетущее чувство, сжимавшее теперь его сердце, происходило совершенно от другой причины.

Эта пьяная компания, эта игра, запах вина, пролитого на скатерть, табачный дым оставили в нем скверное, тяжелое воспоминание, не рассеявшееся, а, напротив, еще значительно увеличившееся, когда он вышел на чистый воздух теплого раннего летнего петербургского утра.

В это время года заря почти сходилась с зарей, и теперь солнце стояло настолько высоко, что, казалось, уже начинало греть, и греть так радостно и при-

ветливо, что Орленеву невольно становилось стыдно за бессмысленно проведенную бессонную ночь.

«И зачем я сидел? — спрашивал он себя, осторожно ступая по проложенным кое-где через грязь и лужи доскам для пешеходов. — Что было хорошего там? Нет, было что-то хорошее, — тут же начал припоминать он, — было!.. Да, музыка!»

В начале вечера кто-то, кажется сам Доронин, объяснил ему, что игравший на клавиринах музыкант был полоумный. И, вспомнив теперь о музыке, он стал думать об этом музыканте. Его почти восковое, испитое лицо и в особенности глаза, уставленные как-то неопределенно в одну точку, так и явились перед ним, как живые.

«Но как он играет, ах, как он играет!.. Если бы они могли только понять!» — повторял себе Сергей Александрович, подразумевая под этим «они» тех, которые составляли общество Доронина и воспоминание о которых было ему теперь грустно.

Он переходил как раз по длинной доске, положенной вдоль забора чьей-то милосердной рукой на пользу общую, так как иначе пришлось бы здесь завязнуть по щиколотку. О такой роскоши, как тротуары, даже деревянные, в Петербурге того времени не имели тогда понятия.

Достигнув конца доски, Орленев почувствовал, что сзади него, на противоположный — ступил кто-то, но обернуться, не потеряв равновесия, не мог.

«Верно кто-нибудь из этой компании тоже», — решил он, сходя наконец на протоптанную среди грязи тропинку, и оглянулся.

По доске к нему приближался в своем длинном балахоне и широкополой, какие носили немецкие пасторы, шляпе, с тростью в руке, тот самый полоумный музыкант, о котором он только что думал.

Сергей Александрович остановился, почувствовал, что ему приятно было бы поговорить, и именно с этим, чужим ему, но почему-то симпатичным человеком. Да, музыкант, несмотря на то, что его называли полоумным, был симпатичен ему.

Перейдя по доске, немец тоже остановился, потому что дорога была занята, и, глянув из-под полей своей шляпы прямо в лицо Орленеву, улыбнулся.

Здесь, вблизи, на дневном свете, он казался гораздо старше, чем там, у клавирина. Разница была слишком разительная, чтобы не броситься прямо в глаза. Там он казался человеком средних лет, только пережившим многое, теперь же пред Сергеем Александровичем стоял старик, совсем старик с глубокими складками у углов рта, и — что страннее всего — глаза этого старика были вовсе не безумные, не те, выражение которых поразило Орленева во время музыки; нет, взгляд их теперь был осмысленный, строгий и глубокий. Они смотрели в самую душу, эти удивительные глаза.

— Простите, ведь это вы играли сейчас у Доронина? — заговорил Орленев, как бы сомневаясь даже, не другой ли это был кто-нибудь.

И в эту минуту ему так хотелось поговорить с этим стариком, что он невольно заранее испугался: а вдруг тот ответит, что он не играл?

Но старик не отнекивался.

— Так позвольте быть знакомым, — сказал Орленев, назвал себя и по английской манере протянул руку для пожатия.

Странная, как молния, быстрая улыбка промелькнула на лице старика при

словах «позвольте быть знакомым»; он вежливо приподнял шляпу и пожал руку Орленеву.

— Позвольте узнать ваше имя? — спросил тот.

— Гирли!

— Это что же, фамилия ваша, имя?

— Зовите меня просто Гирли, или старый Гирли; так меня здесь все называют, — ответил старик.

И они пошли дальше вместе.

II

Сила тайны слова

1

Странное, почти необъяснимое впечатление произвел старый музыкант, просивший называть себя «просто Гирли», на Орленева.

Во-первых, это имя «Гирли» звучало как-то совсем непонятно; во-вторых, поведение его было тоже совсем особенное, даже и для полоумного. Он, встретившись с Орленевым, пошел с ним, не спросив, куда тому нужно было идти, и пошел уверенно, довел своего молодого спутника до дома и показал ему на этот дом, сказав: «Вот вы здесь живете!» Орленев только потом сообразил и удивился, откуда этот старик мог знать так хорошо место, где он живет, и зачем он довел его до самого дома?

Говорил Гирли дорогой тоже вещи, непохожие на обыкновенный разговор.

Речь у них зашла об огне. Орленев не помнил, как собственно заговорили они об этом. Но вот что старик сказал об огне:

— Огонь есть на небеси, и небесный огонь проявляется в грозе. Есть огонь подземный, и как он зародился под землей — это тайна, которой люди не знают. Земля так, как устроил ее Господь, нуждается в огне только подземном и небесном; но люди захотели большего. Они научились добывать огонь на самой земле и, думая, что это — благо, увеличили только свое зло. Они постарались проникнуть тайну — и за это наказуются. Не будь этого добытого людьми огня, на земле было бы гораздо меньше зла. Земля устроена так, что жить на ней человеку хорошо и привольно, то есть было бы хорошо и привольно жить, если бы жил он, как следует. Птицы знают время года и перелетают в те страны, где им хорошо и удобно. Зимой они в теплых странах, где слишком жарко летом, а летом они — в умеренном, где слишком холодно зимой. Так должны были бы поступать и люди. И всем им хватило бы места на земле, если бы они не делили ее на участки и не присваивали их себе, а считали всю землю общей. При помощи огня люди нарушают естественный закон и остаются на зиму там, где холодно, и там, где страдают от этого холода многие из них, у которых нет почему-либо топлива, чтобы добыть огонь. Это зло от огня.

Природа дает человеку готовое питье — воду, и готовую пищу — плоды и ягоды, но люди недовольны этим. Они при помощи огня делают себе из трупов животных вычурные яства и пьяное питье, и те, которые не могут себе доставить это, страдают от лишения, делают преступления, душу свою продают, чтобы достать себе то, что соблазняет их. А между тем рубят на топливо деревья, уничтожают леса, реки от этого сохнут, и земля приходит в расстройство. Это — второе и еще большее зло от огня.

Мало того, люди, незаконно похитившие тайну огня, изошряют свой ум на выдумки, которые якобы полезны человечеству, якобы могут осчастливить его, но на самом деле делают только более несчастным. Все люди не могут пользоваться этими выдумками. Они доступны сравнительно немногим, а остальные мучаются, зачем и они не могут пользоваться всеми этими якобы благами. — А те, которые пользуются, стараются так исхитриться, чтобы пользоваться еще